

“26 августа 1956 г. С Эдиком у Ахматовой. Об ошибках у Льва Толстого (как Нехлюдов оповещает о своей женитьбе, Катюша узнает о своей беременности на третьем месяце, равнодушные Анны к дочери). О стихах и переводах Пастернака, Заболоцкого, Мартынова.

Москва 1913-го года. Архитектура Москвы и Ленинграда.

Начало “Мертвых душ”: на улице губернского города NN стояли “два русские мужика...” Сразу видно, малороссы. Каких еще мужиков он ожидал увидеть там? Португальских, что ли? Украинских 2-го тома “Мертвых душ”. У меня ощущение, что моя книжечка – мыльный пузырь по сравнению с тем, “как должно быть”.

ЭТО МОЯ чуть ли не единственная запись об Ахматовой, сделанная в пятидесятых годах. Но вспоминается многое. Ахматова на сей раз приняла нас с Эдуардом Бабаевым в доме на улице Щукина, где жили люди театра. Ахматова остановилась у Эси Львовны Леонидовой. Когда-то я приходил сюда к ее покойному мужу Олегу Леонидову, меня привел Пудовкин. Потом я нередко бывал там и один.

Ахматова сидела за знакомым мне столом на фоне книг, которые я в своей юности здесь листал. Вот, например, сборник документов о последних днях Льва Толстого. Все репортеры после ухода ринулись за Толстым, а самый дегадливый – в Ясную Поляну посмотреть, как поведет себя Софья Андреевна. И добросовестно отбил в редакцию телеграмму, какую потом Ильф с Петровым подарили великому комбинатору Остапу Бендеру: “Графиня изменившимся лицом бежит пруду”.

Бабаев уже занимался Толстым, принялся за книгу о его эстетике, вот Ахматова и подбросила ему свои наблюдения, пусть подумает.

“Равнодушные Анны к дочери”. По мнению Ахматовой, она должна была больше любить Ани, дочь от любимого человека, чем Сережу, сына от нелюбимого. Я не спорил, но верил Толстому. Люби Каренина дочку больше, чем сына, она б и под поезд не бросилась, это была бы совсем другая Анна. Когда она была женой Каренина, вся любовь Анны сосредоточилась на Сереже. И вся ее радость была в любви Сережи к ней.

Слышать об ошибках Льва Толстого было так же странно, как читать у Льва Толстого в статье “О Шекспире и о драме” пересказ “Короля Лира”. Великая трагедия выглядит тут собранием всяческих нелепиц и несуразиц. Но, наверное, и Шекспиру у Толстого кое-что тоже показалось бы неправдоподобным. Во всяком случае, это за Шекспира увидела великая почитательница английского гения.

В чем дело, мне потом пояснил Маршак. Толстой писал в эпоху спокойного, эпического развития, при другой скорости жизни и другом накале страстей, чем в шекспировские времена. Зато у маршакского поколения (Ахматова на два го-

да моложе Маршака) все биографии были шекспировскими. У каждого, будь он мас-теровым, крестьянином, поэтом, священником, купцом, дворянином, были и 1914-й, и 1917-й, и гражданская война, и нэп, и коллективизация, и 37-й, и 41-й. Это неизбежно делало каждого шекспировским героем. Александр III был бы в то время фигурой немыслимой, неправдоподобной. Не то что Ричард III, который в XX веке вновь возник во многих странах и во многих лицах.

Королю Лиру, пишет Толстой, “нет никакого основания, прожив всю жизнь с дочерьми, верить речам старших и не верить правдивой речи младшей”. Глостер тоже “сразу верит самому грубому обману



и даже не пытается спросить обманутого сына, правда ли то, что на него возводится, а проклинает и изгоняет его”. Зато мы пережили такое время, когда верили именно клеветникам, доносчикам и сразу же принимали грубый обман, порочащий невинного: “Так вот кто он, а мы и не знали!”

Неестественными считает Толстой и “повальные смерти” в каждой драме Шекспира. Но в его “двадцать четвертой” драме, какой для Ахматовой был XX век, жизненные трагедии сопровождалась как раз такими повальными смертями. Что ожидало, к примеру, семью и близких того, кто объявлен кулаком или врагом народа?

“Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена” – это строка Ахматовой. Такую реплику легко представить в устах шекспировской героини. Но в обстоятельной прозе, став не стихом, а житейской фразой, она показалась бы манерной, натянутой. Точно так же нельзя передать стихами чувство равнодушия к ребенку от любимого человека. Тут разные мерки. Анна Каренина никак не могла бы вообразить, что поэтесса, некогда принятая в петербургском свете, будет, оставшись без спичек, прикуривать на глазах у красномейцев от искры паровозного дыма, залетевшей на площадку между вагонами жоп.

Что же до стихов и переводов Пастернака, Заболоцкого, Мартынова, то жа-

лею, что не записал ахматовского мнения о них. Догадываюсь лишь, что, с ее точки зрения, переводы нанесли большой урон их поэзии. Шедевры мировой лирики, равные тем, которые они перевели, могли бы быть созданы ими самими. Но выхода нет, надо зарабатывать, оставаться литераторами, пусть хотя бы в этом качестве.

“Москва 1913-го года”. Последний скорее “толстовский”, чем “шекспировский” год. Ахматова говорила о красочности Москвы, о ее праздничности.

Когда говорили о начале “Мертвых душ” (это, оказывается, одна из ахматовских “пластинок”), мы все очень смеялись. В самом деле, почему Гоголь написал “два русских мужика”? И верно, не

Теперь я понимаю, что Ахматова оценила мою любовь к Средней Азии, возвращение на “родину родин”, мою археологию, сближавшую меня с занятиями ее сына Л.Н.Гумилева. Недаром первые мои стихи, какие ей понравились в Ташкенте, – это стихи об “азиатской” (ее слово!) весне. Что же до “Улыбки”, то это стихотворение надолго стало как бы моей визитной карточкой и вызвало тьму пародий (“Бутылку археологи нашли...”, “Отмычку археологи нашли...” и тому подобное).

И ВСЕ ЖЕ на выставке театральной художницы Е.М.Фрадкиной, жены Е.Я.Хазина, я нарочно выбрал самую толстую, чтобы вручить Ахматовой свою первую книжку и убежать. Я даже

маленький сын Никитка. У меня тоже была двухлетняя дочь, и я стал сочинять стихи для малышек. Никитка был незаменимым собеседником и консультантом. Лишь ему я решался читать свои “дошкольные” стихи. Он же меня на них и вдохновлял. Как-то у него появилась страсть к забиванию гвоздей. Он вбивал их куда попало, искренне горевал, если гвоздь гнулся под молотком и не хотел войти, скажем, в кирпичную стену. Зато как он ликовал, когда забил гвоздь внутрь цветочного горшка. Схватив молоток и гвозди, он ринулся во двор, к цветочной клумбе.

Нет, совсем другое дело – Гвозди в землю забивать!

“Прочтите чушь собачью!”

Вспоминая Анну Ахматову

португальских же! “Для него, малоросса, это экзотика!” – добавила Ахматова. На этом примере она объяснила нам, что “поэт может как угодно скрыть свою личность и биографию, зато прозаик выдает себя с первой же фразы”. А сколько украинских фамилий у гоголевских средне-русских чиновников!

Книжка, показавшаяся мне перед лицом Ахматовой “мыльным пузырем”, – это мой первый сборник стихов “Отплытие”. Он вышел после нашей встречи. Но еще до его выхода в доме писателя Е.Я.Хазина, брата Н.Я.Мандельштам, я по просьбе Ахматовой прочел “какой-нибудь новый стишок” из будущей книги и был поражен, услышав: “Бисерируем “Улыбку”!”

**Среди развалин, в глине и в пыли
Улыбку археологи нашли.
Из черепков, разбросанных вокруг,
Прекрасное лицо сложилось вдруг.
Улыбкою живой озарено,
Чудесно отличается оно
От безупречных, но бездушных лиц
Торжественных богов или цариц...**

– и так далее. Такой случай и правда был у нас в Хорезмской экспедиции. Сначала Ирина Пташникова нашла лишь улыбающиеся керамические уста, а через год, когда пески от бурана сместились, нашлось и остальное. Из черепков составилась пустотелая фигура сидящей женщины. Знай я, что это гроб, осуарий, вместилище костей, расклеванных птицами трупов на башне молчания (зороастрийский обряд), вряд ли написал бы такие стихи. Но ведь уста все равно улыбались!

забыл, что ей нравится “Улыбка”, и написал на книге, как я буду рад, если ей придется по душе хотя бы один стишок, значит, она не напрасно тратила время на ташкентского мальчишку. Ахматова резко выхватила у меня книгу, впилась в надпись, принялась читать... Вот сейчас она наткнется на мою юмористику, она теперь казалась мне такой легковесной, такой далекой от “нашего святого ремесла”. Разве этому она меня учила! Но вышло как раз наоборот.

В Ташкенте Ахматова обратила мое внимание на то, как мало в лирике зрелого Пушкина цветочных эпитетов, их почти нет. Значит, решил я, она, верная последовательница Пушкина, тоже приглушит цвет в своих стихах. Но для нее это было одним из свойств или тайн Пушкина. Задумавшись над ней, она еще больше увлеклась цветом, он прямо-таки хлынул тогда в ее лирику: “Багровый хлынул свет”, “и в День Победы, нежный и туманный, когда заря, как зарево, красна”, “сквозь радугу последних слез”, “седея улыбка всезнающих уст”, “среди неба жгуче-голубого”, “зеленая магия лучей”, “маки в красных шляпах”, “серебряная ива”... Идти по дороге, по какой почему-то не пошел гений, – вот истинное ученичество! Вольно или невольно, я тоже учился у Ахматовой. И она деликатно указала, какие милые ей пути ею не пройдены.

Мы виделись с ней у Варвары Викторовны Шкловской, где остановилась Н.Я.Мандельштам. Но во всем избранном обществе, какое тогда тянулось к Варе Шкловской, мне ближе всех сделалась ее

**Тук! – и шляпки не видать!
Не гнутся, не ломаются,
Обратно вынимаются!**

– пытался я зарифмовать его восторг. Стихи назвал “Сережа и гвозди”.

– Валя Берестов! – недоумевал Никитка. – Почему ты пишешь: “Бьет Сережа молотком”? Надо: “Бьет Никита молотком”.

– Не напечатает, – вздыхал я. – Подумают, про Никиту Сергеевича Хрущева. Мол, ничего у него не получается.

– Тогда напиши: “Бьет Шкловский молотком”.

– Опять не то. Подумают, про твоего дедушку Виктора Борисовича.

И вдруг новость. Вчера без меня у Варе Шкловской была Анна Андреевна. И стала читать наизусть мое стихотворение “Картинки в лужах”. Ахматовский голос, как бы диктующий:

**В лужах – картинки!
На первой – дом.
Как настоящий.
Только вверх дном.**

**Вторая картинка.
Небо на ней.
Как настоящее.
Даже синей...**

– и так далее.

– Анна Андреевна, – спросили ее, – чьи это стихи?

– Валины, – ответила Ахматова. – Меня познакомил с ними Никита.

Впрочем, и она в 1911 году написала стихи в том же роде:

**Мурка, не ходи, там сыч
На подушке вышит.**

Сама она не пошла по этой дорожке (стихи о детях и для детей), но одобрила того, кто это сделал. У меня много стихов такого рода.

Как-то у Шкловских она спросила, что я сейчас пишу.

– Так, чушь собачью, – ответил я.

– Прочтите чушь собачью! – величаво предложила Ахматова.

И я стал читать первые стихи из моих “Веселье наук”. Вот “Этика”:

**Соразмеряйте цель и средства,
Чтоб не дойти до людоедства.**

“Критика модернизма”:

**Действительность –
не бред собачий.**

Она сложнее и богаче.

– Дальше! – потребовала Ахматова. Читаю “Педагогику”:

**Что делать, чтоб младенец
розовый
Не стал дубиной стоеросовой?**

Ахматова довольно улыбнулась, узнав мысль из стихов Анненского:

**Не страшно ль иногда становится
на свете?**

**Не хочется ль бежать, укрыться
поскорей?**

Подумай: на руках у матерей

Все это были розовые дети.

Продолжаю читать в юмористическом роде и стыжусь перед Ахматовой за все это несерьезное, легковесное в сравнении с великой трагической лирикой. И вдруг слышу:

– Относитесь к этому как можно серьезнее. Так никто не умеет.

Тоже одна из дорожек, по какой она не пошла. Блистательное остроумие (как мы наслаждались им в ее беседах!) почти не пустила в стихи.

КАК-ТО в конце июльского дня я сопровождал ее на прогулке. Возвращались к Шкловским мимо Третьяковской галереи. Над зданием Педагогической библиотеки, старинной московской усадьбой, в еще синем небе зажглась алая звезда. То было великое противостояние Марса. Прошлые мы видели в 1940 году, война в Европе уже шла.

И такая звезда глядела

В мой еще не брошенный дом,

– хотел я напомнить Ахматовой. Но справа от меня шла не Ахматова, а как бы ее душа, без возраста и пола. Шло быстрое седое дитя, готовое давать имена цветам и звездам, и у него был какой-то свой разговор с багровой звездой в темнеющем московском небе.

Л.К.Чуковская записала, как жалела Анна Андреевна, что в ее стихах, посвященных Пастернаку, ей пришлось заметить стих “Чтоб не смутить лягушки чуткий сон” на строку “Чтоб не спугнуть пространства чуткий сон”. Думаю, поэтесса серебряного века, ее давление и пристрастия не раз вынуждали Ахматову заменять “лягушек” “пространствами”. Ученикам Ахматовой лучше бы поступать наоборот.

Валентин БЕРЕСТОВ